

Дина
Рубина

Белая голубка
Кордовы

[РОМАН]



ЭКСМО
Москва
2014

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р82

Разработка и оформление серии *Ю. Стоцкой*

Рубина, Дина.

Р82 Белая голубка Кордовы : роман / Дина Рубина. —
Москва : Эксмо, 2015. — 624 с. — (Дина Рубина).

ISBN 978-5-699-80005-6

Роман Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы» — это книга о талантливом художнике, влюбленном в искусство авантюристе, фальсификаторе с душой истинного гения.

Блистательный интеллектуал и обаятельный мошенник Захар Кордовин, покинув Россию, наслаждается жизнью. Читает лекции по истории живописи, пишет книги и... подделывает картины, выдавая их за оригиналы и зарабатывая на этом немалые деньги.

До поры до времени все идет хорошо, но лишь пока прошлое не предъявит Кордовину свой жестокий счет.

«Белая голубка Кордовы» — один из лучших и самых известных романов Дины Рубиной.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-80005-6

© Д. Рубина, 2015

© Ю. Стоцкая, 2015

© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Часть первая

Перед отъездом он все же решил позвонить тетке. Он вообще всегда первым шел на примирение. Главным тут было не заискивать, не сюсюкать, а держаться, словно бы и ссоры нет, — так, чепуха, легкая размолвка.

— Ну, что, — спросил он, — что тебе привезти — *кастануэлас*?¹

— Иди к черту! — отчеканила она. Но в голосе слышалось некоторое удовлетворение, что — позвонил, позвонил все-таки, не умчался там крылышками трещать.

— Тогда веер, а, Жўка? — сказал он, улыбаясь в трубку и представляя ее патрицианское горбоносое лицо в ореоле подсиненной дымки. — Прилепим тебе мушку на щечку, и выйдешь ты на балкон своей богдельни обмахиваться, как маха какая-нибудь, ядрёнкорень.

— Мне ничего от тебя не надо! — сказала она строптиво.

— Вона как. — Сам он был кроток, как голубь. — Ну ла-адно... Тогда привезу тебе испанскую метлу.

— Что еще за испанскую? — буркнула она. И попалась.

— А на какой еще ваша сестра там летает? — воскликнул он, ликуя, как в детстве, когда одурачишь

¹ Кастануэлас — кастаньеты (*исп.*).

простофилю и скачешь вокруг с воплем: «об-ма-ну-ли ду-ра-ка на че-ты-ре ку-ла-ка!»

Она швырнула трубку, но это было уже не ссорой, а так, грозой в начале мая, и уезжать можно было с легким сердцем, тем более что за день до размолвки он съездил на рынок и забил теткин холодильник до отказа.

* * *

Оставалось только *закруглить* еще одно дело, *сюжет* которого он выстраивал и разрабатывал (виньетки деталей, арабески подробностей) — вот уже три года.

И завтра, наконец, на утренней зорьке, на фоне бирюзовых декораций, из пены морской (*лечебно-курортной*, отметим, пены), родится *новая Венера* за личной его подписью: последний взмах дирижера, патетический аккорд в финале симфонии.

Не торопясь, он уложил любимый мягкий чемодан из оливковой кожи, небольшой, но приемистый, как солдатская котомка: его утрамбуешь до отказа, *по самое*, как говорил дядя Сёма, *не могу*, — глядь, а второй туфель всё же влез.

Готовясь к поездке, он всегда тщательно продумывал свой прикид. Помедлил над рубашками, заменил кремовую на синюю, вытащил к ней из связки галстуков в шкафу темно-голубой, шелковый... Да: и запонки, а как же. Те, что подарила Ирина. И те, другие, что подарила Марго — обязательно: она приметливая.

Ну, вот. Теперь *эксперт* одет достойно на все пять дней *испанского проекта*.

Почему-то слово «эксперт», про себя произнесенное, рассмешило его настолько, что он захохотал, даже повалился ничком на тахту, рядом с открытым чемоданом, и минуты две смеялся громко, с удовольствием, — он всегда заразительней всего хохотал наедине с собой.

Продолжая смеяться, перекатился к краю тахты, свесился, вытянул нижний ящик платяного шкафа и, порывшись среди мятых трусов и носков, вытащил пистолет.

Это был удобный, простой конструкции «глок» системы Кольта, с автоматической блокировкой ударника, с несильным плавным откатом. К тому же при помощи шпильки или гвоздя его можно было разобрать в одну минуту.

Будем надеяться, дружище, что завтра ты проспишь в чемодане всю важную встречу.

Поздним вечером он выехал из Иерусалима в сторону Мертвого моря.

Не любил съезжать по этим петлям в темноте, но недавно дорогу расширили, частью осветили, и верблюжьи горбы холмов, что прежде сдавливали тебя с обеих сторон, проталкивая в воронку пустыни, словно бы нехотя расступились...

Но за перекрестком, где после заправочной станции дорога поворачивает и идет вдоль моря, освещение кончилось, и набухшая солью гибельная тьма — та, что лишь у моря бывает, *у этого* моря, — навалилась вновь, шибая в лицо внезапными фарами встречных машин. Справа угрюмо громоздились черные скалы Кумрана, слева угадывалась черная, с внезапным ас-

фальтовым проблеском соляная гладь, за которой далекими огоньками слезился иорданский берег...

Минут через сорок из тьмы внизу взмыло и рассыпалось праздничное созвездие огней: Эйн Бокек, со своими отелями, клиниками, ресторанами и магазинчиками, — приют богатого туриста, в том числе и убогого чухонца. А дальше по берегу, на некотором расстоянии от курортного поселка, одиноко и величаво раскинул в ночи свои белые, ярко освещенные палубы гигантский отель «Нирвана» — в пятьсот тринадцатом номере которого Ирина, скорее всего, уже спала.

Из всех его женщин она была единственной, кто, как и он, дай ей волю, укладывалась бы с петухами и с ними же вставала. Что оказалось неудобно: он не любил делить с кем бы то ни было свои рассветные часы, берег запас пружинистой утренней силы, когда впереди огромный день, и глаза остры и свежи, и кончики пальцев чутки, как у пианиста, и башка отлично варит, и все удается в курящемся дымке над первой чашкой кофе.

Ради этих драгоценных рассветных часов он частенько уезжал от Ирины поздней ночью.

Въехав на стоянку отеля, припарковался, достал из багажника чемодан и, не торопясь, продлевая последние минуты одиночества, направился к огромным карусельным лопастям главного входа.

— Спишь?! — шутливо гаркнул охраннику-эффиопу. — А я бомбу принес.

Тот встрепенулся, зыркнул белками глаз и недоверчиво растянул в темноте белую гармонику улыбки:

— Да ла-а-дно...

Они знали друг друга в лицо. В этом отеле, многолюдном и бестолковом, как город, стоящем в стороне от курортного поселка, он любил назначать деловые встречи, последние, итоговые: тот самый завершающий аккорд симфонии, к которому *интересанту* надо еще пилить по неслабой дороге, меж нависших над морем скалистых зубов, затянутых скрепами и сеткой исполинского дантиста.

И правильно: как говорил дядя Сёма — *не потопашь, не полопашь*. (Впрочем, сам дядя *топнуть* своим ортопедическим ботинком ни за что бы не смог.)

Вот он, пятьсот тринадцатый номер. Бесшумное краткое соитие замочной прорези с электронным ключом, добытым у осовелой дежурной: *понимаете, не хочу будить жену, бедная страдает мигренями и рано укладывается...*

Никакой жены у него сроду не было.

Никакими мигренями она не страдала.

И разбудить ее он собирался немедленно.

Ирина спала как обычно — завернутая в кокон одеяла, как белый сыр в друзскую питу.

Вечно упакуется, зароется, да еще под бока подоткнет, — хоть археологов нанимай.

Бросив на пол чемодан и куртку, он на ходу стянул свитер, скovyрнул — нога об ногу — кроссовки и рухнул рядом с ней на кровать, еще в джинсах — замок застрял на бугристом изломе молнии — и майке.

Ирина проснулась, и они завозились одновременно, пытаясь высвободиться из одеяла, из одежды, мыча друг другу в лицо:

— ...ты обещал, бессовестный, обещал...

— ...и сдержу обещание, человек ты в футляре!
— ...ну, что ты, как дикий, набросился! погоди...
постой минутку...
— ...уже стою, ты не чувствуешь?
— ...фу, наглец... ну дай же мне хотя бы...
— ...кто ж тебе не дает... вот, пожалуйста, и вот...
и вот... и... во-о-о-о...

...В открытой двери балкона солидарная с ним в ритме лимонная луна то взмывала над перилами со своим лупоглазым бесстыдным «браво!», то опускалась вниз, сначала медленно и плавно, затем все быстрее, быстрее — словно увлекшись этими, новыми для нее, качелями, — то увеличивая, то сокращая размах взлета и падения. Но вот замерла на головокружительной высоте, балансируя, будто в последний раз озирая небесную округу... и вдруг сорвалась и помчалась, ускоряя и ускоряя темп, едва ли не задыхаясь в этой гонке, пока не застонала, не забилась, не вздрогнула освобожденно, и — не затихла, в изнеможении повиснув где-то на задворках небес...

...Затем Ирина плескалась в душе, то и дело переключая горячую струю на холодную (сейчас зайвится в постель — мокрая, как утопленник, и давай грей ее до собственного посинения), — а он пытался взглядом проследить в окне микроскопические передвижения бледно-одутловатого светила, своего недавнего партнера по свальному греху.

Наконец поднялся и вышел на балкон.

Гигантский отель погружен был в оцепенелый сон на краю мерцающего соляного озера. Внизу, в окружении пальм, полированной крышкой рояля лежал бассейн, в котором скакала желтая ломкая луна. В трех десятках метров от бассейна тянулся пляж с членистоногими пирамидками собранных на ночь пластиковых лежаков и кресел.

Стылое мерцание соли вдали сообщало неподвижной ночи ледяное безмолвие, нечто новогоднее — вроде ожидания чудес и подарков.

Что ж, за подарками дело не станет.

— Ты с ума сошел: голым — на балкон? — слышался за спиною бодрый голос. — Стыд у тебя есть элементарный? Люди же кругом...

Иногда ее хотелось не то чтобы выключить, но слегка убавить звук.

Он закрыл балконную дверь, задернул штору и зажег настольную лампу.

— Ты поправилась... — задумчиво проговорил он, валясь на кровать и разглядывая Ирину в распахнутом махровом халате. — Мне это нравится. Ты сейчас похожа на Дину Верни́.

— Что-о-о?! Что это за баба?

— Натурщица Майоля. Скинь-ка этот идиотский халат, ага... и повернись спиной. Да: те же пропорции. При тонкой спине сильная выразительная линия бедер. И плечо сейчас так плавно восходит в шею... Ай-яй, какая натура! Жаль, что я сто лет карандаш в руки не брал.

Она хмыкнула, плюхнулась в глубокое кресло рядом с кроватью и потянулась к пачке сигарет.

— Ну, давай, валяй... Расскажи мне еще что-нибудь про меня.

— Эт пожалуйста! Понимаешь, когда женщина чуток набирает весу, ее грудь становится благодстней, щедрее... улыбчивей. И цвет кожи меняется. Нежный слой подкожного жира дает телу более благородный, перламутровый оттенок. Возникает такая... ммм... прозрачность лессировок, понимаешь?

Он уже не прочь был вздремнуть перед рассветом хотя бы часик-полтора. Но Ирина закурила и была бодрa и напористa. Того гляди вновь потребует к священной жертве. Главное, чтоб не принялась отношения выяснять.

— И потом, знаешь... — зевнув и поворачиваясь на бок, продолжал он, — вот это мерное колыхание бедер, вид сзади и сверху, оно сводит с ума, если еще ладонями...

— Кордовин, гад! — перегнувшись, она швырнула в него пустой сигаретной пачкой. — Ты прямо сирена злокозненная, Кордовин! Казанова какой-то, пошлый соблазнитель!

— Не-а, — бормотнул он, неудержимо засыпая. — Я просто... влюбленный...

Все это было сущей правдой. Он любил женщин. Он действительно любил женщин — их быстрый ум, земную толковость, цепкий глаз на детали; не уставал повторять, что если женщина умна, то она опаснее умного мужчины: ведь обычная пронциательность обретае тогда еще и эмоциональную, поистине звериную чуткость, улавливает — поверху, *по тяге* — то, что никакой логикой не одолеешь.

Он дружил с ними, предпочитал с ними вести дела, считал более надежными товарищами и вообще —

лучшими людьми. Часто аттестовал себя: «Я очень женский человек». Всегда умел согреть и всегда находил — чем полюбоваться в каждой.

* * *

Проснулся он, как обычно, в пять тридцать. Уже много лет какой-то усердный и неумолимый ангел заводил где-то в вышних казармах побудку, и минута в минуту — какой бы сон ни снился, какая бы усталость ни свалила его два часа назад, — в пять тридцать он обреченно открывал глаза... и, чертыхаясь, плелся в душ.

Но до этого ему сегодня опять *показали жестянку*.

Вроде как он поднимается, с усилием ворочая торсом — в *этих* снах всё всегда происходит с неотменной чередой тяготных движений, — садится на постели, с трудом разлепляет глаза... И видит: на гостиничном журнальном столике — *стоит*. Ах ты, мать честная! — стоит та самая, *мятая жестянка*... Нет, говорит он себе (все следует давно вызубренному сценарию проклятого сна), — не жестянка, скотина ты этакая, а субботний серебряный кубок, старинная фамильная вещь, хотя и — да, слегка примятый с боку; но это ведь потому, что с грузовика упал. И Жука, сирота (война, зима, эвакуация), — не побоялась, сама полезла под колесо, достала! А ты, мерзавец, подонок и прохвост... пошел и сдал в антикварную скупку, глазом бесстыжим не моргнув. И, главное, вот сейчас давно прочел бы — что там по кругу было выбито. В те годы не мог, не понимал диковинных

закорючек, а сейчас бы запросто прочел, ведь то наверняка был иврит?

Ну, Жу-у-ка, простонал он, как всегда (сценарий движется, сон катится под гору, вернее, мучительно вкатывается в гору), — я же сто раз прощения... я осознал... искал! Да что мы опять ссоримся, ей-богу: вот же он — стоит! Стоит — темный, массивный, давно не чищенный — так что и кораблик неразличим, — на серебряной своей юбочке...

И он тянет пудовую руку, с усилием, как воду, преодолевая толщу сна. Тянет руку, тянет... хватает, наконец, тяжелый кубок, вертит в пальцах, подносит к глазам. И плывет по трем легким волнам трехмачтовый галеон, и вьются по серебряной юбочке угловатые — и такие понятные теперь — буквы: **«Поезд на Мюнхен отходит со второго перрона в 22.30»**.

И тогда лишь проснулся. Вроде проснулся таки. Господи, доколе... *Прости, Жука!*

Он долго стоял под жгучими плетками воды, потом резко переключил на холодную и с минуту, охая от удовольствия, растирался жесткой мочалкой, которую повсюду с собой возил.

Затем побрился, не торопясь, тихо насвистывая, чтобы не разбудить раньше времени удава там, на кровати... Славного поленьяго удава, чьи упругие кольца, так сладко пульсируя, сжимают... м-да. Все же не надо позволять ей полнеть и дальше.

Старательно выбривая выпяченный подбородок (в ежеутреннем бритье это главная му́ка — крутой, как твердое яблочко, подбородок с труднодоступной вы-

емкой под нижней губой), он внимательно рассматривал себя в просторном зеркале ванной.

А ты слегка подсох, парень... Дядя Сёма сказал бы: *подобрался*. В молодости был скорее крепышом. Часто даже за боксера принимали. Сейчас утоньшился, согласно образу. Нос как-то... окостенел, что ли... Аристократ-с, твою мать.

Только ежик густых черных волос (фамильно устойчивый пигмент, небрежно отвечал он на комплименты) и такие же смоляные брови, прямые и почти сросшиеся над глубоко посаженными серыми глазами, были прежними. Да вот еще эти вертикальные черточки в углах рта, что всегда сообщали его лицу выражение детского дружелюбия, вечной готовности растянуть губы в улыбке: *я люблю тебя, мой огромный добрый мир...* Да, это наш козырь. Может, это твой единственный козырь, а, парень?

Когда на цыпочках он вышел из ванной, чтобы достать из чемодана рубашку и костюм, выяснилось, что и Ирина проснулась — черт, как некстати эта ее жаворонковая природа! — и лежит в своем коконе, лохматая, в отвратительном настроении и полной боевой готовности.

— Трусливо сбегает, — сказала она, внимательно и насмешливо наблюдая за тем, как он одевается.

— Ага, — он широко ей улыбнулся. — Ужасно трушу! Я вообще тебя очень боюсь и раболепно выслушиваюсь. Глянь-ка на эти запонки. Узнаешь? Обожаю их, всем демонстрирую: «подарок любимой женщины».